



## Содержание

Во встречном свете	7
Ночь брата	230
На иных языках	370
Белые пятна	533

*Сузанне Доротее Онвайлер,  
которой тогда, восемнадцати лет отроду,  
достало мужества и любви,  
несмотря ни на что, стать моей женой*

*С благодарностью госпоже Бригитте Хильцензауер,  
сопровождавшей меня в трудном пути,  
каким явилось написание этой книги.*

Эгинальд Шлаттнер, Ротберг/Трансильвания,  
осень 2000 г.

# ВО ВСТРЕЧНОМ СВЕТЕ

## 1

Великое время – для меня оно началось незаметно. Чья-то рука заталкивает меня в камеру, я ничего не вижу. «*Stai! Стой!*» Кто-то снимает с меня металлические очки-заслонки. Потом дверь у меня за спиной с грохотом за-творяют на засов. Я стою неподвижно. Поездка вслепую закончилась, я прибыл на место назначения.

После многочасового мрака глаза начинают что-то различать. Камера тесная. Если вытянуть руки в стороны, можно дотронуться до обеих стен. В углу стоит жестяное ведро без крышки. Я изливаюсь в него бесконечной струей, пока надзиратель не кричит: «*Ho! Ho! Тпру! Остановись!*» В зловонной жиже плавает дохлая мышь.

Ночь. Мертвая тишина. К стене на уровне груди привинчена столешница. Под ней батарея отопления. Оконный проем под потолком чем только ни забран: колючей проволокой, пуленепробиваемым стеклом, семью стальными прутьями. Над дверью в проволочной сетке мерцает слабая лампочка. Две железные койки справа и слева. Я измеряю шагами узкий проход между ними: три с половиной шага туда, три обратно. Воздух словно разряженный, трудно дышать. Восемнадцать запретов и заповедей, перечисленных в табличке на стене, я читать не стал. Что можно запретить в камере, где нет ничего, кроме койки, столика и решетки?

«*Camera obscura*», – шепчу я. Я боюсь давать вещам имена. И все-таки мне придется смириться: я в тюрьме Секуритате<sup>1</sup>. Как ни бейся, ничего здесь не изменишь. Ты именно там, где должен быть. Одиночество предпо-

---

<sup>1</sup> Секуритате (рум. Securitate) – Служба государственной безопасности Румынской Народной Республики.

лагает, что ты ни по кому не тоскуешь. Я ни по кому не тоскую. Отпечаток человеческого тела на соломенном тюфяке кажется мне едва ли не вторжением в мое личное пространство. Наверное, кто-то, скорчившись, пролежал там много ночей подряд. От его тела на тюфяке осталось углубление.

Надзиратель открывает окошко в двери; я успеваю рассмотреть только густые усы и верхнюю пуговицу униформы. Раздается приказ: «Лечь!» Я устраиваюсь на тюфяке, стараясь попасть в очертания ложбинки, и вздрагиваю, определив на ощупь: здесь лежала женщина, лицом к проходу.

Спать полагается лицом к проходу, таково предписание. Или лицом вверх, вытянув руки на конской попоне, служащей вместо одеяла. Не успел я закрыть глаза, как меня грубо будит надзиратель. Он толкает меня палкой от метлы, потому что я повернулся к стене. «Повернуться!» Неужели за решеткой никогда не гасят свет? Я сворачиваю носовой платок и кое-как пристраиваю его себе на глаза.

Из Клаузенбурга<sup>1</sup> нас привезли сюда с завязанными глазами, в наручниках. Моего друга звали Тудор Басарабян. Но он настаивал, чтобы его именовали Михелем Зайфертом. «Зайфертом» – по девичьей фамилии покойной матери, а «Михелем» – в честь немецкого Михеля, которого он высоко почитал. Наши руки соединяли половинки наручников, одна его кисть была прикована к моей. Руки нам пришлось держать то у него, то у меня на коленях. При каждом необдуманном движении в наручниках что-то щелкало, браслеты врезались нам в запястья. «Американские наручники», – произнес офицер Секуритате. Наручники от заклятого империалистического врага...

Меня арестовали еще утром и полдня продержали в клаузенбургском отделении Секуритате. Ближе к вечеру повезли неизвестно куда. Когда мы въезжали по отвесным извилистым дорогам на горный хребет, возвышающийся

---

<sup>1</sup> Клаузенбург – немецкое название города Клуж (венгерское название – Колошвар), одного из центров проживания трансильванских саксонцев, этнических немцев, составлявших основное население исторической области Бурценланд в Трансильвании.

над городом, перед нами в последний раз предстал мир: пока солнце заходило на холодном розовом небосклоне, город в долине медленно окутывала тень. Солдаты напрягли на нас очки, и мы ослепли. Вместо стекол в оправы были вставлены жестяные заслонки.

Как себя вести? Мой дедушка полагал, что даже самая безумная ситуация не лишена своей эстетической привлекательности. Когда он потерпел кораблекрушение, его, привязавшего себя к бочке из-под рома, день и две ночи носило по волнам Адриатического моря. При этом он пытался не утратить чувство собственного достоинства. «Нелегко пришлось, сынок! Бочку-то все время крутило».

Ну и как прикажете сохранять чувство собственного достоинства, если ты закован в наручники, обездвижен и ничего не видишь?

До тех пор я произнес только одну фразу: «Это недоразумение, начальство в Бухаресте разберется». Но никто из сидевших в машине этому не поверил.

Ну и какая же эстетическая привлекательность присуща этому часу?

Может, стоило оказать сопротивление, как наш преподаватель марксизма и политэкономии профессор Рауль Вольчинский, которого арестовали во время перерыва в коридоре университета? Спрятавшись за дверь уборной, я наблюдал эту сцену, одновременно жестокою и гротескную. И восхищался им.

Его увели вскоре после лекции, на которой он подробно излагал преимущества централизованного планового хозяйства. Когда господа вежливо попросили профессора пройти с ними, он отказался. Когда они схватили его, он вырвался. Когда они снова на него набросились, он отбил-ся и бросился бежать. Как из-под земли прямо перед ним выросли еще двое агентов в штатском. Вчетвером они не могли справиться с отчаянно сопротивляющимся профессором, он тащил их за собой по коридору, и только с трудом они одолели его и сбили с ног. Он лежал на мозаичном полу и, как арлекин на арене цирка, беспомощно бился, пытаясь освободиться. Какие-то две студентки, спешившие, держась за руки, в уборную, искренне рассмеялись. Ну, разве не смешно: взрослые взяты, как дети. Товарищ

Вольчинский во время борьбы потерял шляпу, и она еще некоторое время катилась за ним, но так и не догнала.

Элиза Кронер, как раз выходявшая из-за угла, повернулась на месте и двинулась в обратную сторону. «Таким, как мы, при подобных сценах даже показываться нельзя, а уж тем более на них глазеть», – написала она мне однажды. Мы неизменно обменивались письмами, не выезжая из города. А вот моя любимая однокурсница Руксанда Стойка подняла шляпу профессора и втайне сохранила ее как реликвию. Кто-то на нее донес. Девушку с гордым взором румынок с Рудных гор на семестр отстранили от занятий, шляпу конфисковали и пропустили через мясорубку. Оставшиеся клочки ночью бросили в реку.

Как же мне сохранить чувство собственного достоинства в такое мгновение? Я так и слышал голос своей бабушки: «Есть люди, с которыми разговаривать нельзя. Не потому, что мы лучше их, а потому, что они не такие, как мы. Тебя спасет только молчание». Сотрудники Секуритате были не такие, как я. Вот я и молчал. И прислушивался к тому, о чем они говорят между собою. Хотя офицеры и солдаты пытались сбить нас с толку, обсуждая вымышленный маршрут, я в конце концов понял, в каком направлении мы движемся: из Клаузенбурга в Германштадт<sup>1</sup>. Возможно, и дальше на восток: в Кронштадт, ныне Сталинштадт, или даже в Бухарест, по ту сторону Карпат.

«Смотрите, – сказал офицер охранникам, может быть, даже повернувшись на сиденье, – вон наши колхозники, из Девы едут, с базара, домой торопятся». С базара? Что за вздор, не может такого быть. С другой стороны, не может быть, чтобы офицер говорил неправду. Но я невольно засомневался: а вдруг и правда везут в Деву? Зачем? Хотят заточить нас в возвышающихся над городом руинах крепости, где четыреста лет тому назад умер в темнице первый трансильванский епископ-унитарий Ференц Давид? Хотят бросить нас в средневековые казематы? Чушь какая.

Базара по субботам нигде не бывает. А потом, сейчас конец декабря, и мы провели в пути уже несколько часов.

---

<sup>1</sup> Германштадт (румынское название – Сибиу) – культурная столица трансильванских саксонцев.

Наверняка уже темно, хоть глаз выколи. Сейчас каждый крестьянин греется в избе у печки, даже колхозник. К тому же, если бы мы ехали в Деву, шоссе проходило бы вдоль пойменного луга у реки Миреш, по пологому склону в долину. А вот если бы мы и вправду ехали в Германштадт, то шоссе пролегалo бы по сплошным холмам. Я, студент-гидролог выпускного курса, как свои пять пальцев знал не только русла всех рек Румынии, но и тектоническую структуру трансильванских ландшафтов.

И точно, шум мотора усилился, автомобиль стал преодолевать подъемы и виражи, нас начало бросать из стороны в сторону. Судя по тому, как тарахтение мотора порой заглушали фасады домов, мы проезжали мимо деревень, знакомых мне по велосипедным прогулкам с друзьями, с девушками – в какой-то другой жизни.

Если мы действительно направляемся в Германштадт, то нас пересадят в другую машину. В первом же городке нового региона нас перегрузили в другой автомобиль, как я и предвидел. А Германштадт-Сибиу уже был центром района, входившего в Сталинский регион. В этом городе отделение Секуритате располагалось в бывшем императорском и королевском штабе корпуса, с террасы которого до тысяча девятьсот восемнадцатого года генерал, командовавший воинскими частями, каждый вечер созерцал факельное шествие в эпоху императоров и королей.

Это здание знал каждый. Мы, родившиеся после падения Австро-Венгерской империи, за версту обходили мрачную цитадель, обороняемую от врагов колючей проволокой и стальными пиками. По слухам, фасад вплоть до самой стрехи щедро украшала лепнина, изображавшая резвящихся амурчиков и нимф. Но из-за непомерно высоких стен, которые окружали двор, там почти ничего нельзя было разглядеть.

Машина затормозила. Нам приказали выйти, но мы были не в состоянии последовать команде. Невидимые руки схватили нас и перетащили в другой автомобиль. «*Repede*, быстро!» Можно ли было подтвердить, что мы остановились там, где я предположил, – в Германштадте? В Германштадте существовала трамвайная линия, запущенная по решению саксонского муниципалитета в де-

вятьсот пятом; трамвай ходил от станции «Юнгер Вальд» до станции «Неппендорф». И звон трамвая раздавался перед хижинами и дворцами и даже перед укрепленным замком Секуритате. Вот этого-то трамвайного звонка я и ждал. И услышал его. Значит, еще не наступила полночь, ведь после двенадцати трамвайное движение прекращалось, оставались одни конные экипажи. Выходит, отсюда нас должны перевезти либо в Кронштадт, либо в Бухарест. Совсем скоро, когда проедем развилку дороги перед перевалом Ротер Турм, я это пойму.

Германштадт. Я на мгновение вспомнил о своей бабушке, жившей в нескольких улицах отсюда, столь хорошо воспитанной, что она за всю свою жизнь не произнесла ни единого грубого слова, даже в самые тяжкие времена. И о тете Герте, младшей сестре моей матери, сдержанной, как холодное дыхание. Они спали, зажатые между старинными креслами и комодами, в одной комнате, которую у них еще не отобрали. Им снились складные веера из слоновой кости и остановившиеся каминные часы. Все это не имело ко мне никакого отношения, стало частью иного мира, другой жизни, и эту жизнь я утратил навсегда. В моих воспоминаниях померк даже мой младший брат Курт-Феликс, как и я, студент университета в Клаузенбурге, но университета венгерского, имени Яноша Бойяи<sup>1</sup>. Только накануне вечером я ходил с ним вместе в кино на мексиканский фильм с Марией Феликс. Когда на экране появилась незрячая девушка, исполняющая какой-то зловещий танец в ослепительном свете прожектора между цветов кактуса и мулов, мы, не сговариваясь, встали и ушли.

Во мне ничто не дрогнуло, пока мы проезжали по Фогарашу – Маленькому Городку, хотя машина и подпрыгнувала на булыжнике. Здесь, на Беривойгассе пять, в доме, изъязвленном дырами и щелями, спали мой отец, и мать, и самый младший брат Уве, а кошмары, в которых кишели крысы, только поджидали, как бы на них наброситься.

Когда мы наконец прибыли в Кронштадт, по-румынски Орашул-Сталин, для нас перестал существовать внешний мир, от которого я и так уже был отделен наручниками,

---

<sup>1</sup> Янош Бойяи (1802–1860) – выдающийся венгерский математик.

непрозрачными очками, щелканьем ружейных затворов, которые с удовольствием передергивали трое конвоиров, и изменившейся природой времени.

В этом городе моя младшая сестра Элька Адель училась в пятом гимназическом классе школы имени Хонтеруса<sup>1</sup>. Жила она у Гризо, нашей бабушки. Бабушка вела хозяйство, да и вообще заправляла всем в доме своего зятя Фрица и своей дочери Мали. Мали, сестра отца, вышла замуж в сорок лет и в качестве приданого преподнесла мужу тещу; вклад же дяди Фрица в будущее благосостояние семьи ограничивался домом с барочным декоративным фронтоном. Дом находился в Танненау, предместье, сплошь застроенном виллами бывших богачей, туда можно было доехать на желтом трамвае.

Все четверо спали в одной комнате: бабушка и тетя на двух супружеских постелях, дядя на диванчике у них в ногах, Элька в уголке возле голландской печки. За окном выделялись силуэты голых яблонь, еще дальше вздымались ели в снежных шубах. Луна до крови расцарапалась о каменные когти горных вершин: Хоэнштайна, Крэнштайна. Взрослые храпели. Сестре снился пасхальный заяц. Посреди зимы. И красные пасхальные яйца.

Я лежу на соломенном тюфяке, сохранившем отпечаток чужого женского тела, надзиратель только что призвал меня к порядку, ткнув палкой от метлы, и я осознаю: все эти существа, которые в своем вечном круговращении составляют часть человеческой жизни и которым я по-разному был предан, навсегда застыли, обратившись в соляные столпы и отвратив от меня свои лица. Все, кто еще вчера был мне близок, во время сегодняшнего мрачного странствия утратили для меня всякую привлекательность. Любовь к ним меня шантажировать не удастся.

В тюрьме чужие руки отобрали у нас очки, сняли наручники. Нам велели раздеться догола. Я с отвращением уставился в дула двух автоматов. Михеля Зайферта увели. Мы не успели обменяться рукопожатием. Не успели

---

<sup>1</sup> Иоганнес Хонтерус (1498–1549) – немецкий (трансильванский) ученый-гуманист и богослов, известный географ и картограф.

даже обменяться взглядом. Не сказали друг на прощанье ни слова. Расстались навсегда.

Совершенно голый, я стоял перед ночными стражами, и капли пота стекали у меня из подмышек. Надо же, какие бывают профессии: посреди ночи направлять автоматы на голых людей, пока другие коллеги проводят личный досмотр этих голых. Во второй раз после Клаузенбурга мне пришлось испытать эти отвратительные ощущения: мерзавцы рылись в моей одежде, совали нос в кальсоны и обнюхивали их, чья-то физиономия протискивалась мне в задний проход, чьи-то грязные пальцы оттягивали крайнюю плоть, лезли мне в рот и, причиняя боль, проникали глубоко в ноздри. Руки охранника завладевали моим телом, отнимали мое тело у меня. Они словно заявляли: «Даже оно принадлежит нам!» – а я тем временем по команде поворачивался, наклонялся, становился на колени, поднимался и замирал.

Когда мне вернули одежду, выяснилось, что забрали брючный ремень, поясную резинку с нижнего белья, металлические набойки с ботинок, шнурки и галстук. «Все, с помощью чего можно совершить самоубийство», – осенило меня. Мне предъявили список моего имущества и моих рукописей. Не успев еще подписать – «gepede, gepede!», – только пробежав его глазами, я понял, что они провели тщательнейший обыск даже в квартире моих родителей в Фогараше. О том, что они рылись в моей студенческой камерке и захватили мои вещи из клиники, я узнал еще в Клаузенбурге из описи.

Готово! Когда я попытался неловко надеть обеими руками жестяные очки, ничем не удерживаемые штаны и кальсоны соскользнули с бедер. Охранники расхохотались так, что в камере без окон им откликнулось эхо. И толкнули меня в спину. Полуголый, я, спотыкаясь, куда-то двинулся. Они втиснули меня в подобие одностворчатого шкафчика, узкого, теснее гроба. Мои колени уперлись в дверцу, руки приклеились к дощатым стенкам. Расслабить тело я не мог. Дышать было нечем. В конце концов, они вытащили меня из этой щели. Ноги у меня подкосились. Им предстояло вновь научиться удерживать тело. Чья-то невидимая рука повела меня, как ведут слепых, и затолкнула в камеру,

которой я поначалу почти не разглядел. Я бросился к жестяному ведру в углу. Стоял там и мочился, пока надзиратель на меня не закричал. Дохлая мышь в ведре крутилась как заведенная.

Я вспомнил эпизод из своего раннего детства в Сент-керстбанье, что в Секейском крае: как-то ночью за окном детской среди нарциссов и левкоев вдруг раздалось журчание, перешедшее в ровный, нескончаемый гул, – а что если это буйвол? А вдруг вообще какое-нибудь чудовище? Мы, малыши, от страха разбудили маму. Оказалось, что это облегчалась наша венгерская служанка Маришка, напившаяся пива со своим ухажером.

Я лежу в камере и пытаюсь с завязанными глазами обозреть ситуацию. Как же спастись от времени, которое она тебе навязывает? Не знаю. Брезжит слабая мысль: может быть, опережая свою судьбу на шаг, ну, как-нибудь, до самого финала...

Я проваливаюсь в сон, но тут меня будит толчок палкой от метлы, я вновь задремываю, в испуге вздрагиваю, просыпаюсь, и прихожу в ужас при мысли, что я здесь нахожусь.

Неужели я спал? Воздух, свет, стена в серо-белых пятнах те же самые. «Встать!» – доносится грубый приказ из-за дверного окошка. Затем дверь с грохотом открывается. Человек в солдатской форме и войлочных тапочках с выражением оскорбленного достоинства на лице, ни дать ни взять страждущий святой, ногой пихает в камеру жестяной совок и молча ставит рядом метлу.

На совке я обнаруживаю окурочек виргинской сигары. Такую я иногда позволял себе в Клаузенбурге, например, сидя с Элизой Кронер в модной кондитерской «Прогрессул» в подвальном этаже дворца Пальфи. А еще пачку таких сигар я всегда, отправляясь в Форкешдорф, покупал в подарок учителю Карузо Шпильхауптеру, отцу девушки, которая была в меня влюблена. Это зеленая виргинская сигара, не докуренная и наполовину. На ней виднеется красный ободок дорогой губной помады. Так значит, здесь содержалась женщина! Дама!

Еще я на совке нахожу фольгу от плавленого сыра и мерзкие клочья седых волос. Из этого мусора можно

извлечь очень ограниченный объем информации. Мою собственную добычу, после того как я вымел каменный пол, составляют крохотные соломинки под койкой. Клубки свалывшейся пыли. Да, и мышинный помет!

Когда дверь отворяется во второй раз, надзиратель с мрачным видом поучает меня, что, как только снаружи отодвинут засов, заключенному полагается отпрянуть вглубь камеры, стать лицом к стене и не шевелиться, пока не разрешат. Мне наплевать. Я здесь по чистой случайности, долго не пробуду. А еще меня злит, что эту дыру он именует «камерой», подумать только.

Когда этим же утром, черным, как ночь, дверь опять отворяют с адским грохотом, я сижу по-турецки на койке. Вместо того чтобы, заломив мне руки назад, поставить меня к стенке, надзиратель протягивает мне жестяные очки и говорит: «*La program!*!» О чем он? Неужели в такой ранний час заключенным предлагают какую-то культурную программу? И потому в коридоре хлопают двери и раздаются шарканье? Мне неинтересно.

Я надеваю очки, их резиновая оправка липкая на ощупь. Невидимый охранник грубо поправляет на мне жестяную уздечку так, чтобы она плотно прилегала к лицу, и я начинаю задыхаться. К тому же он сегодня явно не чистил зубы. Потом он приказывает, словно желая убедиться, вижу ли я что-нибудь: «Принеси помойное ведро!» Вытянув перед собой руки, я добираюсь до угла, тут же натыкаюсь на привинченный к стене столик, понимаю, что потерял ориентацию, по запаху нахожу ведро, наклоняюсь, не рассчитав, запускаю руку в мочу, хватаю плавающую в ней мышь, наконец, нащупываю ручку и слышу, как надзиратель шипит: «*Vine!*!» То есть «хорошо». Он зажимает мою левую руку у себя под мышкой и нетерпеливо тащит меня куда-то, я не знаю куда. Я тяжело и неуверенно шагаю за ним, наклонив голову, вслушиваясь в окружающие меня звуки, а в правой руке несу полное ведро мочи. Мы резко поворачиваем вправо, надзиратель последний раз дергает меня: «*Stai!*!» Он грубо срывает с меня очки, растрепав волосы. «*Repede, repede!*!» И с непроницаемым лицом злоеще и кратко добавляет: «Стул должен быть регулярный – утром и вечером!»

Моим незащищенным глазам предстает уборная с несколькими раковинами и двумя унитазами, установленными в нишах без дверцы. Даже мои экскременты мне больше не принадлежат, их будут тщательно исследовать. Я равнодушно опорожняю кишечник. Не тороплюсь. Время не играет роли. Однако отсутствие туалетной бумаги вызывает у меня панику. Как быть?

Со спущенными штанами я приоткрываю дверь уборной и высовываю голову наружу, в первый и последний раз вижу коридор, замечаю тесный ряд бронированных дверей с тяжелыми засовами, слышу доносящееся из камер бормотанье, неясный гул голосов. И тут же безвинно страждущий святой в войлочных тапочках как ошпаренный бросается ко мне. Потрясенный, он снова заталкивает меня в клозет. «А туалетная бумага? – спрашиваю я. – *Hârtie igienică?*»

«Туалетная бумага?» – переспрашивает он. Заходит ко мне в уборную. Что ему нужно? Я отступаю маленькими шажками, штаны волочатся по выложенному плиткой полу. «Садись», – говорит он дружелюбно. Я покорно сажусь на край унитаза. И узнаю, что существуют более гигиеничные способы подтирать задницу, чем предполагал до сих пор. То и дело озираясь, как будто кто-то притаился у него за спиной, мой помощник вводит меня в курс дела. Век живи, век учись. Вот только нужно забыть о привычном, старом, давно затверженном. Что я и делаю.

Он подает мне жестяную кружку, которую принес из коридора. «Потом оставь себе, будешь из нее воду пить. Вот как: льешь воду на ладонь и моешь задницу». Новый способ поддержания гигиены мне не дается. Я раз за разом попусту расходую воду, но он снова и снова терпеливо наполняет для меня кружку. Он бранит меня, хвалит, а я покорно сижу перед ним, скорчившись, на унитазе и честно пытаюсь выполнить все его указания. Наконец он произносит: «*Minunat!* Чудесно!» Моя задница чистая и прохладная, приятно дотронуться. Но дальше-то как? Я беспомощно показываю ему испачканные ладони. «Потяни за веревку! И подставь руки сзади под струю». Я делаю, как мне велели. Вода журчит, клокочет, пенится.

– А вытереть как?

– Помаши руками, так и посушишь. А потом вытри о штаны. А сейчас пошел, марш в камеру!

Назад он ведет меня размеренным шагом, точно мы идем к алтарю. Осторожно обнимает меня за талию, более того, даже придерживает за пояс, не давая ненадежным штанам упасть. В камере почти нежно снимает с меня очки. Обещает раздобыть крышку для туалетного ведра. А на прощанье произносит что-то запрещенное и неуместное: «Vunã zîua. Всего доброго». Дверь он запирает на замки настолько бесшумно, что мне начинает казаться, будто он ее только притворил.

Надо придумать незнакомцу красивое имя. Я окрестил его Лилией. Их немало в Танннау. Когда плаваешь в заросшем лилиями пруду, они осторожно до тебя дотрагиваются. Он еще долго смотрит в глазок, время от времени наблюдает за мной.

А вот маленькое окошко в двери, кормушку, открывают редко. Во время завтрака, обеда и ужина. Тогда бестелесная рука протягивает через него миску с едой. Вскоре меня перестает удивлять, что надзиратель бесшумно, как на резиновых подошвах, подкрадывается к camera obscura, заглядывает в глазок и так же бесшумно исчезает, а я его все равно слышу.

Как быстро все чувства привыкают к этой жизни, пока душа обращается в бегство. Мир скукоживается в страхе. Зато время безмерно разрастается, чтобы ты научился страху.

## 2

Сижу на койке и ничего не жду. В коридоре под шарканье ног и скрип дверей проходит *la program*. Мир погрузился во мрак. Я уже совершил утренний туалет, вновь сопровождавшийся замешательством и смущением. Зеркала нет. Если когда-нибудь нам еще суждено будет увидеть собственное лицо, мы себя не узнаем. О бритве нет и речи. Дважды, утром и вечером, разрешается выходить из камеры: «Стул должен быть регулярный!» Однако все во мне, все на мне так и стремится убежать: штаны без ремня норовят сползти на пол, в животе урчит.

Вчера, в последнюю субботу тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, уже утром я был в пути. Я отпросился на выходные из больницы в Клаузенбурге.

Я проходил курс лечения в психиатрическом отделении: пять раз в неделю, с рассветом, на голодный желудок я получал укол инсулина, и дозу мне постепенно увеличивали. Инсулин поглощал сахар в крови. Вскоре я покрывался холодным потом, тело остывало, язык немел, превращаясь в сосульку, и я словно с ледяной горки скатывался в объятия смерти. Агония длилась несколько часов, а потом санитар закачивал мне в вены глюкозу. Я приходил в себя, возвращаясь издалека. Просыпался в поту, разбитый и счастливый, в постели, похожей на пенную ванну. И на несколько часов избавлялся от скорбей и печалей. Жадно проглатывал завтрак и обед одновременно. И запивал их литрами компота, который приносили мне в постель заботливые студентки.

В клинику, расположенную высоко над городом, я обратился добровольно. Был уверен, что в этом месте несколько недель мне не придется заботиться о хлебе насущном, и хотел выиграть время, чтобы поразмыслить над всеми своими страданиями и муками.

Но неужели все ограничивалось едой и печалью? Неужели не обошлось без тайного расчета у такого, как я, искавшего защиты и убежища с тех пор, как в мир его детства ворвались русские? Последнее пристанище – лечебница. Я наивно полагал, что там им не так-то просто будет до меня добраться. Сумасшедший дом представлялся последним прибежищем в этой стране, окруженной колючей проволокой и полосой отчуждения. В этих старинных, еще австро-венгерских стенах я чувствовал себя в безопасности от посягательств призрачных сил, готовых завладеть мною и грозивших мне со времен «поражения», как называли это в наших кругах. Тогда, двадцать третьего августа тысяча девятьсот сорок четвертого года, королевство Румыния изменило прежним союзникам и стало на сторону Советов. Официально это именовалось иначе: «Освобождение Румынии от фашистского ига победоносной Красной Армией».

С того рокового дня во мне тлел страх наказания, хотя на совести у меня не было ничего скверного, кроме самого

факта собственного существования: по документам я был гражданином Румынской Народной Республики, но гражданином не совсем полноценным. Как трансильванско-го саксонца меня официально причисляли к *naționalitate germană* и тем самым напоминали, что я поддерживал Гитлера. А как сын коммерсанта я оставался элементом сомнительного социального происхождения – *de origine socială nesănătoasă*.

Вчера я предпринял последний шаг, чтобы спастись от себя самого. Я спустился из санатория вниз, в долину, в университет, чтобы подать заявление о вступлении в ряды Коммунистической партии. Тем самым я отвергал свое злополучное происхождение и добровольно выбирал будущее.

Этот день и распланировал по минутам: я хотел получить стипендию. И до полудня работать в библиотеке. Потом посидеть над формулами, определяющими водоносность в реках. После обеда обещал пойти с девушкой, ученицей музыкальной школы, в кино на западногерманский фильм «Уличная серенада» с Вико Торриани. А вечером мой друг Зайферт звал к себе на танцы. Он уговорил своего отца, которому не мог простить, что звали его Мирча Басарабян и что был он румыном, на эту ночь освободить квартиру.

Из трехсот клаузенбургских студентов, участников «Литературного кружка имени Йозефа Марлина», была отобрана маленькая группа. На этот вечер я пригласил интеллектуалку Элизу Кронер, мраморную красавицу. Едва успев появиться в Клаузенбурге, она вскружила голову многим студентам. А кое-кому разбила сердце. Мой брат Курт-Феликс поставил диагноз, что в Клаузенбурге бушует «эпидемия кронерита». Началось настоящее паломничество к ней на окраину города, где она дешево снимала комнату у старухи-венгерки. Отцу Элизы раньше принадлежала ткацкая фабрика, но потом ее реквизировали. Свой срок, как положено фабриканту и капиталисту, он уже отсидел. Теперь он работал красильщиком, а она считалась дочерью трудящегося.

Начинающие ветеринары и будущие дипломированные трубачи непрерывно осаждали ее дом и жаждали вести с

ней умные беседы, на что она вежливо соглашалась. Однако дальше все шло хуже некуда. Кавалеры с букетами пу- тали «Основы девятнадцатого века» с «Мифом двадцатого века», каковые в свою очередь не могли отличить от «Зака- та Европы»<sup>1</sup>. Что Шопенгауэр, что Ницше, – им было все едино. «Дружеский брак» они смешивали с «Совершен- ным браком»<sup>2</sup>. И происходило это не только потому, что молодые люди отваживались вторгнуться в незнакомую область, но и потому, что при виде девушки все их мысли и чувства приходили в смятение. А бесконечно повторять известное, то есть цитировать Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, никто не желал, хотя обсуждать этих господ поневоле приходилось часто. Когда число отвергнутых поклонников превысило критический уровень, Элизе Кро- нер присвоили прозвище Майские Заморозки.

Собираясь на танцы, я предпочел Элизу Кронер потому, что до меня дошел слух: якобы в Клаузенбурге есть только один студент, который ей нравится. А именно я. Как осно- ватель литературного кружка или как личность, я не знал и решил не выяснять.

Вчера я спустился из клиники в город еще свободным человеком. Бесконечно простирался Ботанический сад, где позволялось гулять безобидным умалишенным и слег- ка опаленным безумием душам. Не раздумывая, я пере- махнул через забор и оказался среди голых деревьев, в окружении оледенелых растений.

В этом саду каждому уважающему себя студенту полага- лось провести ночь с возлюбленной, незаметно затаив- шись после закрытия. Таков был обычай. При этом любая пара обнаруживала, что даже самая короткая ночь все-та- ки длиннее дня. И что к утру холодает, и, как бы ты ни вер- телся и ни крутился, согреться все равно можешь только с

---

<sup>1</sup> Упомянуты книги англо-немецкого идеолога расизма и антисемитизма Хьюстона Стюарта Чемберлена, немецкого теоретика национал-социализ- ма Альфреда Розенберга и немецкого философа Освальда Шпенглера.

<sup>2</sup> В эссе «Дружеский брак» немецкой писательницы Лолы Ландау идеаль- ное супружество-дружба описывалось как не сковывающее творческие стремления мужа и жены, а в книге «Совершенный брак» голландского врача-сексолога Теодора ван де Велде рассматривалась физиология супружеского союза.

одного бока. Пусть даже избранница и очень пухленькая. Мне не удалось на эту ночь заманить с собой мою подругу Аннемари Шёнмунд, студентку факультета психологии. С безупречной логикой она доказала мне, что все это чушь. Зато в июне согласилась другая студентка, которой я предложил пойти со мной просто в шутку. Мы тогда укрылись в японском чайном домике, и часам к четырем утра, как и следовало ожидать, весьма похолодало.

Вчера я долго ползал в оранжерее между кактусами и баобабами, как бы в заграничной местности, но вполне легальной, и попусту потратил время. В папке у меня похрустывали документы, требуемые для вступления в Румынскую рабочую партию. К заявлению прилагалась слегка подправленная автобиография, рекомендации Коммунистического союза молодежи и результаты экзаменов. Вооружившись таким образом, я отправился к секретарю нашей парторганизации, доценту доктору Хиларие, преподавателю океанографии и геодезии. Он приводил нас восхищение тем, что мог наизусть перечислить все водопроводные насосные станции Румынской Народной Республики вместе с их географическими координатами и партийными секретарями, а еще назвать все заливы мира на языках тех стран, которым они принадлежали. К тому же мы высоко ценили, что он знал толк в одежде и выглядел как джентльмен.

Я долго медлил, терзая себя вопросом: смог ли я стать одним из них? Может быть, это был еще один акт самоотречения? Для начала надо было уничтожить прошлое: отказаться от предков, отвергнуть свое воспитание, даже истребить собственные воспоминания. Надлежало уступить, подчиниться и слушаться до конца жизни.

А опыт повиновения у нас уже был: дабы не оскорбить утонченные чувства рабочего класса, мама первого мая не вывешивала белье во дворе. Из уважения к эстетическому вкусу пролетариата мы зажигали свечи на рождественской елке, задернув занавески на окнах. В погребке за бочкой кислой капусты рядом с портретом короля плесневела и свадебная фотография родителей: мама в пышном подвенечном платье, отец во фраке. А когда раз в год мы жарили венские шницели, то запирали дверь, чтобы Секуритате не

могла обвинить нас в низкопоклонстве перед капиталистическим Западом.

Вчера я то и дело украдкой оглядывался. Вдруг за мной следует по пятам тайный агент? На углу Страда Армата Рошие – улицы Красной Армии – которая вела к университету, я замешкался. Что-то удерживало меня. Сам того не желая, я зашел в кондитерскую «Красный серп», местечко, начисто лишенное шика и обаяния: металлические стойки, выдаваемые за столики и стулья, серп и молот на стене в качестве украшения – вот и все. Я заказал дешевый кофе. Он оказался чуть теплым и безвкусным. На нитяном чулке официантки прямо на колене красовалась дыра.

Со стуком распахнулась дверь. В кафе ввалилась компания студентов-медиков. От них пахло формалином, все говорили по-венгерски. Запащенные халаты они небрежно побросали на спинки стульев. Заметно возбужденные, девицы-медики уселись на колени к молодым людям. Все заказали кофе, крепкий и горячий, и пили, громко прихлебывая. Они говорили наперебой, не слушая друг друга. Из прозекторской пропал труп. В Бухаресте потеряли голову от волнения. Венгерские заговорщики! «С пятьдесят шестого года у них во всем мы, венгры, виноваты!» Среди этого шума и крика снова открылась дверь. На пороге остановился неприметный человек. Лицо его скрывали облачка выдыхаемого на морозе пара. Он окинул взглядом собравшихся и вдруг заорал: «*Aici nu este Budapesta!*<sup>1</sup> Это румынский социалистический город!» Воцарилась мертвая тишина. Девицы соскользнули с колен своих обожателей и стали смущенно озираться в поисках стульев. Студенты не двигались с места. «*Mai decent! Unde este morala proletară?*»<sup>2</sup> – закричал незнакомец пронзительным голосом, который, казалось, исходил не из его тщедушного тела. Никто не ответил, даже официантка. Потом облачко пара унесло посланника чуждых сил. Дверь осталась открытой. Кафе опустело. Я расплатился и ушел. Еще несколько шагов, и я у цели.

<sup>1</sup> Здесь вам не Будапешт! (рум.)

<sup>2</sup> Какое неприличие! Где же пролетарская мораль? (рум.)